

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Серафим Ежиков

«Отрекомендовался он мне Серафимом Ежиковым. Лицо его было не без приятности. Правда, лицо это не было красиво, и черты его скорей поражали безобразием, чем правильностью, но от этого безобразия веяло глубокой симпатичностью. В разговоре он часто и внезапно краснел, причем лицо его получало выражение чрезвычайно приятной застенчивости и какого-то совершенно девичьего целомудрия...»

Александр Иванович Эртель
Серафим Ежиков

Стоял февраль.

С самого крещенья держалась ясная погода, без ветров и метелей, с крепкими, сердитыми морозами. Глубокий снег, первоначально напавший в ту зиму еще до введения и обильно подновляемый во все филипповки, ни разу не сгонялся паводками и теперь, скованный ноздреватым настом, мирно покоился на полях. Благодаря отсутствию ветров, снег этот покрывал землю ровною, слегка волнистою пеленою; даже вокруг жилищ не было сугробов. Дороги, не заносимые подземкою и не заметаемые метелью, были превосходны. Сани не ныряли по ним, как по волнам бушующего моря, и даже ночью путник не мог бы сбиться с них, ибо отчетливо чернелись на сером фоне зимней ночи правильные ряды соломенных вешек, еще не разнесенных бурей по степи и не поникших под напором бешеных снеговых волн. Небо не завешивалось мглою и не закрывалось хмурыми тучами, но с неутомимой яркостью синело и сверкало. Зори не погорали, зажигая небо зловещим багрянцем и, подобно пожару, пылая над пустынными снегами, но кротко и тихо

сияли, нежно окрашивая и степь и небо приветливым румянцем и предвещая все ту же постоянную погоду на завтра. Днем ослепительно блистало холодное солнце. По ночам высыпали бесчисленные звезды, тускло мерцал Млечный Путь и светила голубая луна, обливая молчаливые поля меланхолически-сказочным сиянием.

Но постоянной погоде этой близился конец, и на сретение, второго февраля, по небу забродили робкие тучки, а в морозном воздухе повеяло мягкостью. Вечером, подавая самовар, Семен доложил мне, что наст ослаб и не только человека, как прежде, но и собаки не сдерживает проваливается.

— Неужель оттепель будет?

— Беспременно будет. Спокон веку вокруг сретенья отпускает.

— Верно ли это?

— Уж это будьте спокойны. Спокон веку примечено: «сретенские оттепели»... как же!

На следующий день пушистый иней покрыл деревья и крыши, и хотя мороз снова покрепчал и сурово знобил лицо, но тучи на небе сгущались, поднимался ветерок, а на ре-

ке, без всякой причины, выступила из проруби вода, желтоватым пятном расплывшаяся под снегом.

— Ну что, Семен, нет ли еще каких примет? — спросил я.

Семен донес мне, что собаки целое утро катались по снегу, петухи кричали в совершенно необычное для них время и рамы в кухне заплакали.

— Быть погоде! — утвердительно заключил он и с настойчивостью пригласил Михайлу дней на пять заготовить корму.

Четвертого, в день чудотворца Кирилла, с самого раннего утра потянуло оттепелью. Влажный ветер медленно гнал с юга длинные вереницы тяжелых туч. Темная синева протянулась по кругозору и повисла над лесами и деревнями. Дороги и тропинки пожелтели. Снег уже не резал глаза сверкающей белизною, как то бывает в яркий солнечный день, но отдавал мягкими, теплыми тонами.

К полудням ветер усилился; теплое дыхание его становилось резким и пронизывающим. Тучи сплотились в какие-то туманные клубы и все ниже и ниже опускались над по-

лями. Синий цвет их окраин сначала уступил место темно-сизому, почти черному, затем и этот цвет стусеивался, и небо стало одна сплошная мутная мгла. Синева над горизонтом час от часу таяла и сливалась с серою мглою; лишь узкая темноватая полоска, остаток этой синевы, упрямо обняла дали и не сливалась с тучами, не поддавалась им.

Леса и деревни как будто придвинулись к хутору и получили какую-то неведомую в морозный день явственность и теплоту колорита. Молодые ракиты на плотине, оттаяв от снега и вчерашнего инея, сиротливо распростирали по ветру свои гибкие красноватые ветви. Камыш, точно обмытый талым ветром, бурными волнами разбежался по вершине и с какой-то неприятной сухостью шуршал своими безжизненными стеблями.

Семен и Михайло торопливо носили корм с гумна и из риги на двор. Анна заботилась о топливе. Лошади шумно фыркали в конюшне. Воробьи с суетливым визгом копошились под пеленою амбара. Галки бестолково перелетали по крышам, садились на трубы и хрипиво кричали, обращая открытые клю-

вы в упор ветру.

Непогода близилась.

К вечеру еще ниже свесились тучи над полями. Казалось, стоило бросить шапку кверху, и она застряла бы в тучах. Повалил мокрый, пухлый снег. Дали сначала завесились метелью, как будто кисеею, затем потонули в мутном, медленно зыблющемся море, сквозь которое только смутно синели леса и чернели поселки. Но скоро море это сгустилось и, споспешествуемое наступающею тьмою, покрыло непроницаемой завесой и дали, и леса, и деревни. Хутор остался лицом к лицу с снежною бездной, тихо, но неудержимо падающей с неба.

Когда стемнело, ветер превратился в бурю. Он загудел и заиграл с снежинками, закрутил их вихрем, понес подземкою. Мертвенно-тихое поле проснулось: заревело и застонало. Началась пурга.

— Нну-у, разгулялась погодка! — воскликнул Семен, через силу добравшийся из кухни до дома, и долго кряхтел и отплеывался, протирая лицо, обивая сапоги и очищая одежду от липкого снега.

Действительно, загуляла погода шальным, безобразным разгулом.

Семен напоил меня чаем, напился сам и, накинув на плечи полушубок, отправился было затворять ставни. Но буря воротила его, и уж натянув полушубок в рукава, он снова отправился бороться с нею. И долго он возился с дверями и гремел железными затворами ставень. Мне слышно было, как вьюга буйно вырывала из его рук ставни, порывисто хлопая ими по стене, и в то время, когда он усиливался притворить их, она, словно поспешая, ударяла в стекла непрерывными волнами звенящего снега. Когда же, наконец, удалось Семену затворить ставни, звенящие звуки превратились в глухой и смутный, слегка завывающий шум, на который утлые доски ставень отвечали жалобнейшим скрипом.

— Диво творится! — с некоторым даже ужасом объявил мне Семен, тяжело отдуваясь и отряхаясь от снега. — Зги божией не видно в поле! — добавил он, отдохнувши, и, влезая на лежанку, с сокрушением произнес: — Упаси господи злого татарина...

Я сел за книгу, но читать мне не хотелось.

Я встал и стал ходить по комнате. Что-то смутно волновало меня, повергая не то в тоску, не то в какую-то нервную тревогу. Слабое пламя свечи, печально бросавшее круглый отсвет на белый потолок, треск половиц под моими ногами, непрерывный лязг маятника и тень, тиходвигающаяся за мною, смутный шум вьюги за стенами и легкое поскрипывание ставень — все это уносило меня в какой-то щемящий мир мечтательных грез и сказочных представлений...

Я ходил, и думал, и вслушивался в дикие стоны вьюги.

И казалось мне, что «диво» воочию встает предо мною и бушующее поле открывает мне свои тайны.

Мне казалось — я вижу, как в тихое море падающего снега с неведомых высот ринулась буря и прихотливо закрутила это море исполинской спиралью... Снежинки сначала тихо и неуверенно, затем все быстрее и быстрее затолклись и заиграли в круговороте... Буря ширится, наполняя пространство диким завыванием... Буря захватывает уже не версты и не десятки квадратных верст, а целые

области своею бешеною пляской и вместе с тем несется вперед по безграничному степному простору с безобразной, одуряющей быстротою... Кажется, нет силы, способной противостать ей и бороться с нею... Но есть эта сила. Сила эта — постоянный ветер, не утихающий в нижних слоях атмосферы. По мере того как буря свирепеет, — он усиливается. Буря кружит снежную бездну, вертит и буровит ее, — ветер мечет ее из стороны в сторону, разрывает в клочья и из правильного, бешено толкущегося круговорота превращает в какую-то воющую, бесформенную мглу... Буря сердится, плачет, гудит... Буря борется с ветром, страшно терзает и крутит несчастные снежные волны... Пространство уподобляется исполинскому котлу, в котором с ужасным гулом клокочет и с неба летящий и вздымаемый от земли снег. И вой разъяренных зверей чудится в том гуле, и стоны озлобленные, и вопли человеческие, терзающие душу... — То — вихрь. То его буйно-унылые песни стоят над полем.

Иногда буря осиливает, и тогда и дико ревущую мглу и воющие вихри весь бешено

зыблющийся, безграничный, бессмысленный простор крутит и вертит она в одном исполненском хороводе...

То жалобно, то буйно стонет и рыдает поле...

Стихла буря. Подобно клочьям разодранной овчины, повисли тучи над полем. Кое-где промеж туч засветились туманные звезды в голубой синеве. Заредели хлопья снега. Смолкла адская музыка пурги, словно отдыхая от разгула. Лишь подземка, тихо, но беспрерывно скользя, наметая сугробы в ложбинах, громоздя бугры вокруг жилищ, а на дороге — ухабы, нарушает тишину, вдруг вставшую над полем.

А даль насылает новые тучи. Угрюмая тьма снова обнимает небо, и снова снежное море потопляет степь, а буря, словно спохватившись, крутит это море, мечет его во все стороны, рыдает, стонет и голосит... Вот ворвалась она в осиновый лесок... Тронула покрытые гололедицей сучья, зашатала корявые деревья... Стон и шум поднялись по лесу... Словно вопль целого сонма грешников вырвался оттуда, — вырвался, заклокотал

надрывающими диссонансами и слился в общем безумном хоре тоскующего, буйно рыдающего ада...

...И казалось мне — я вижу, как ринулась буря на утлые хаты поселка... Завертелась, закружилась она вокруг бедных хат. Взгромоздила сугробы по пелены, зазвенела в маленькие закоптелые оконца оледеневшим снегом, растрепала крыши и понесла по бушующему простору охапки черной, прогнившей соломы... Ударила дерзким порывом в церковную колокольню и заворотила церковную железную крышу. Крыша загрохотала, подобно далеким раскатам грома, и печальным похоронным перезвоном звякнули колокола... Звякнули и замолкли, а буря пронеслась в поле и заплясала и заплакала там пронзительным плачем... «Бесова свадьба», — говорит народ про погоду и с суеверным ужасом внимает ее песням.

Все живое приникло в страхе: зверь в сугробах и лесах, человек в жилищах, подобных сугробам...

...Я вздрогнул и взглянул в окно. Ставень распахнулась и хлопнула, и хрипло загремела

на железных петлях. Вьюга, подобно косматому чудищу, лезла в стекла и сердито лизала их. Я взглянул на часы: стрелка приближалась к двенадцати. Хлопнула с визгом в другой раз ставень; затрещала непрочная рама. Буйно метнулся ветер в трубу и заголосил там, точно баба над покойником.

Я подошел к окну и прислонился к стеклам. Мутная бездна угрюмо глядела оттуда на меня.

Мне почудился стук. Я прислушался: ничего, кроме Семенова храпа да завывания вьюги. Но какое-то неопределенное беспокойство овладело мною. Я подошел к передней и снова прислушался. Немного спустя стук раздался явственно и торопливо.

Я разбудил Семена и окликнул: «Кто там?» В ответ послышался какой-то крик, почти заглушенный ветром, и снова посыпались удары в двери. Несомненно, за дверьми был человек. Семен отворил вход в сени, я распахнул дверь в комнаты. В сенях завизжала ворвавшаяся буря, заскрипел снег под ногами Семена; в комнаты сначала бросилась студеная струя, сильно заколебавшая пламя свечи,

бывшей в моих руках, а затем ввалилось что-то белое и холодное. Это белое шумно вздохнуло, испустило какой-то неопределенный возглас и стремительно бросилось на коник. Это белое был человек, укутанный в некоторое подобие тулупа и с громадным треухом на голове. С ног до головы он был занесен снегом.

— Шабаш!.. Хоть издыхай!.. — отрывисто произнес он и уставил на меня мутный взгляд. — Говорю, хоть издыхай! — действительно повторил он и в изнеможении закрыл глаза.

— Ты чей? — спросил я.

— Лесковский, — ответил он, вяло поднимая веки и с каким-то удивлением снова устремляя взгляд свой на меня.

— С каких Лесков?

— С Малых.

— Откуда едешь?

— С города.

— Один?

— С учителем.

— С каким учителем? Где он?! — вскрикнул я в ужасе.

— В санях.

Семен выскочил на двор.

— Чей учитель?

— Лесковский. Серафим Миколаич.

— Что же он не слезает?

Мужик захохотал.

— Нейдет!

— Что так?

— Сумлевается.

— В чем?

— Насчет ночевки сумлевается.

— Как сомневается?

— Так. Допреж, говорит, спросись поди...

Мужик опять захохотал, но вдруг схватился за ногу и вскрикнул:

— Ой, — зазнобил, ой-ой!.. Ах, леший те... а-ах!..

Я взглянул на его ноги, они были в худых лаптях и рваных холодных онучах, обвязанных пеньковыми обрывочками.

Дверь снова отворилась, и в ней опять показалось что-то белое.

— Извините, ради бога... Необходимость... По необходимости... Не беспокою ли?.. — говорило оно. Голос дрожал и прерывался.

Мужик опять захохотал.

— Все сумлеваются! — подмигнул он мне и преспокойно стал совлекать с себя какое-то отрепье и взбираться на лежанку.

— Мне хошь околевой теперь! — воскликнул он, — и мерин пущай околевает, и ты... Околевайте все, — мне теперь все едино!.. Я вот ногу ознобил...

И он стонал, прерывая стоны руганью, и в то же время лукаво кивал мне на учителя, смеялся и хватался за ногу.

Семен побежал прибирать лошадь. Я принялся разоблачать учителя. Он весь дрожал от стужи, но стыдливо отстранял от себя мои руки.

— Вы уж, пожалуйста... — лепетал он, — пожалуйста, не беспокойтесь... Не нужно бы... право, не нужно бы хлопотать... Я бы в избу... Нам бы в избу с ним... Выпил он немного... холодно... Простите... Я, право, не знаю... Мне бы в избу...

— Куда вам в избу — здесь ночуете.

— Ах, право бы, не надо... Зачем здесь!.. Мы здесь намараем... Беспокойство вам... В избу бы... Мы утречком бы завтра... Не взыщите...

Чем свет бы... Не хлопчите, сделайте милость!..

— Нет, уж меня колом отселе не выпрешь! — заявил мужик.

Серафим Николаич с каким-то усилием засмеялся, и снова сконфузился, и смущенно залепетал:

— Право, мне совестно... Вы уж простите его... Архип Лукич, ты уж не дебоширь, пожалуйста... Видите, выпил он... Согревает оно, знаете ли... Есть научные данные... Алкоголь... Вам, вероятно, известно?.. Холодно, знаете!.. Видите — одежда... рубище... Мне вот можно не пить... Я одет...

И снова попытался засмеяться, и снова переконфузился. Все это время он что-то начинал расстегивать, что-то развязывать, но руки его не действовали. Наконец я убедил его не препятствовать мне и начал производить раздевание. Из покровов на нем только и было солидного, что валенки; все остальное могло быть носимо только по необходимости. Ватное пальтишко, увязанное большим женским платком, достигало лишь до колен (колени эти страшно дрожали). Дешевая бараш-

ковая шапка была глубоко надвинута на лицо. Кроме шапки, лицо это скрывалось и поднятым воротником, из-за которого торчала судорожно дрожавшая бородка, сплошь забитая инеем.

Он все же не переставал проситься в избу и извиняться за беспокойство. Насилу убедил я его, что никакого беспокойства он мне не причинит и доставит лишь одно удовольствие.

По совлечении платка, пальто и иных верхних одежд учитель оказался маленьким, узкогрудым человечком в «твиновом» пиджачке и в ситцевой, достаточно уже позаношенной рубашке. Отрекомендовался он мне Серафимом Ежиковым. Лицо его было не без приятности. Правда, лицо это не было красиво, и черты его скорее поражали безобразием, чем правильностью, но от этого безобразия веяло глубокой симпатичностью. В разговоре он часто и внезапно краснел, причем лицо его получало выражение чрезвычайно приятной застенчивости и какого-то совершенно девичьего целомудрия. Часто также пытался он предупредительно улыбаться и

смеяться каким-то как бы заискивающим смехом, но только пытался, ибо ни улыбки какой следует, ни смеха у него не выходило; его темные глубокие глаза при этих попытках постоянно оставались серьезными и даже грустными.

Впоследствии заметил я, что стоило его оставить самому себе, то есть не занимать его разговором, не угощать и вообще не утруждать галантностью обхождения, — он весь преображался: лоб его тогда мучительно стягивался морщинами, на всем лице замирала тоскливая гримаса и худые прозрачные пальцы нервно щипали реденькую русую бородку. Казалось, какая-то упорная мысль постоянно буравила его голову.

Пока вскипел самовар, Ежигов, едва только обогрившись, все возился с ногою Архипа. И снегом и вином он растирал ее, и успокоился лишь тогда, когда убедился, что опасности нет ни малейшей. Архип вообще разыгрывал при этом некоторого идола. Снисходительно посмеиваясь, протягивал он ногу и все подмигивал мне на учителя, как бы приглашая полюбоваться на подобного чудака. Казалось,

Архип делает Ежикову великое одолжение, позволяя растирать свою ногу. Помимо высокомерной снисходительности и насмешливого подмигивания, лицо Архипа выражало полнейшее равнодушие. Только раз соблаговолил он изъяснить некоторое неудовольствие: это когда Ежиков начал растирать ногу вином. «Эхма! — воскликнул тогда Архип, тоскливо взглядывая на вино, — в нутро бы мне ее, водку-то!» — и еще долго спустя после растирания с негодованием повторял: «Экую прорву винища извели зря!.. Ведь обдумают канитель: божьим даром ноги поливать...»

Когда подан был самовар, мне все-таки удалось внушить Ежикову некоторую бесцеремонность: он уже почти не отказывался от чая и с заметным удовольствием выпил несколько стаканов.

— Зачем вы в город-то ездили? — спросил я его за чаем.

— Знаете ли, — уведомление было от управы...

— Это насчет чего же?

Он несколько замялся.

— А видите ли: наставникам некоторое

вознаграждение полагается...

Слово «вознаграждение» произнес он после стыдливого колебанья.

— А! так за жалованьем, значит, ездили?

— Да, да... С одной стороны, это верно... Невозможно, знаете... (Он как бы оправдывался.)

— Что же, получили?

— О да!.. Оно, видите, не совсем получили... Я, например, не получил... Но некоторые получили... и даже многие получили... Очень многие! — добавил он поспешно и таким тоном, как бы просил у меня извинения за г. раздавателей «вознагражденья».

— Каж же это вы-то?

Ежиков покраснел.

— Право, не знаю, как вам сказать... Впрочем, оно, пожалуй, и понятно... Даже очень понятно!.. Я, знаете ли, опоздал несколько. Другие успели, приехали вовремя, ну, а я опоздал... Согласитесь сами, нельзя же ждать!

— Денег, стало быть, не достало в управе?

— Да, но видите... Видите, это такое дело... такое... Нужда везде... Как хотите — обременительно!.. Очень обременительно... Вы знае-

те, ведь на них очень много наложено... А была засуха... Они называют это недород (он застенчиво улыбнулся)... Это, знаете ли, все нужно... обсудить бы нужно... Налоги там... Вообще... — тяжело!.. — Он вдруг заволновался и вскочил со стула, но тотчас же опять уселся, не преминув и на этот раз покрыться стыдливым румянцем.

— Из города вы рано выехали? — переменял я разговор.

— А нет, не очень рано... Да вот... — он задумался, — да, да, метель уж была, и порядочная-таки была метель...

— Зачем же вы в такую погоду выезжали?

— А как вам сказать... Это надо объяснить, видите... (Он окончательно переконфузился.) Овес, знаете, и притом опять пища... О пище тоже необходимо объяснить... Ужасно неудобно в городе!.. и так, знаете ли... ужасно все дорого!.. Да, очень дорого. Ну, я, видите, не успел в управу... Другие успели... Очень многие успели!.. Многие ужасно нуждались... О, как нуждались!.. Знаете ли, Венчуткин есть, Михай Иваныч... Он семинарист, из учительской семинарии... Жена у него больная такая, сла-

бая, дети... Очень маленькие дети!.. Ну, и ни копейки... а?.. О, ужасно нуждались Венчуткины!.. И вдруг, что же? приезжает, знаете ли, Михей Иваныч, — он, впрочем, пешком пришел, но это все равно... итак, является он, ему прямо за три месяца... (Нам за три месяца не выдавали... но это неважно!..) И так за три месяца, — это с чем-то тридцать шесть рублей... И, вообразите, прямо-таки тридцать шесть рублей и получил!.. О, он ужасно теперь счастлив... И все это очень удачно, знаете... — Глаза Серафима Николаича засветились чисто детской радостью. Говорил он торопливо и часто задыхался от волнения, особенно сильно овладевавшего им во время разговора о чьей-либо нужде или о каком-нибудь горе.

— Ну да, так вот видите... (я ровно ничего не видел и только смутно догадывался, что из города выжил Ежикова голод)... выехали мы, и вдруг буря эта... Знаете ли, у Кольцова есть... — как-то необычайно просияв, неожиданно воскликнул он и задыхающимся голосом продекламировал (голос его при напряжении оказался каким-то нервно звенящим и как будто надтреснутым):

*Выходи ж ты, туча,
С темною грозой
Обойми свет белый,
Закрой темнотою...
Молодец удалый
Соловьём засвищет,
Без пути, без света
Свою долю същёт...*

После этого для меня неожиданного порыва Серафим Николаич тотчас же смутился и низко нагнулся над стаканом, но не утерпел и, улыбнувшись детски-восторженной улыбкой, снова заговорил:

— Не правда ли, сила какая?.. Тут, знаете ли, есть что-то... Ужасно гордое что-то есть!.. И главное — могущественное... О, это главное!.. Видите ли, это не Байрон... Там немудрено, знаете: он на уровне многих знаний стоял... Там, видите ли, стон какой-то, озлобление этакое... А тут такое... такое непосредственное... и свежее... Чувство тут, а не сплин... Конечно, не сплин!.. Я, знаете ли, о чем... здесь ведь народ вносил и... и это очень важно... Не правда ли?.. Именно, именно весь народ, а не философия... не... не... ну, да не Си-

стема Натуры⁽¹⁾ и не Руссо... Видите ли, я много думал...

Но что думал Ежиков, осталось на этот раз мне неизвестным, ибо он как-то взглянул на меня и окончательно переконфузился: я смотрел на него во все глаза, недоумевая, где бы слышать сельскому учителю о Руссо и о Системе Натуры.

С этого момента Серафим Николаич как будто спохватился и ушел в свою скорлупу. Получая неохотные и очень неопределенные ответы на все мои выпрашивания, я понял, наконец, что стесняю гостя, а потому без дальних промедлений предложил ему спать. Спать он с охотой согласился, но при укладывании опять изъясил себя церемонным человеком, ибо долго отказывался от подушек и одеяла и долго уверял, что подушку ему заменит пальто (все еще мокрое), а вместо одеяла он «легко удовольствуется пиджачком...»

Наконец мы улеглись — только что пробило три часа. Вьюга по-прежнему мела, и гудела, и завывала в трубу.

Наутро, когда я проснулся, до меня прежде всего донесся опять-таки шум вьюги. Погода

не утихла. Из окон, полузалепленных снегом, лился скудный, сумрачный свет.

Я взглянул на диван, где спал Ежиков — его там не было. В печке с веселым треском горели дрова; в комнате было свежо и легко. На столе уже кипел самовар. На дворе громоздились сугробы и непроницаемым саваном кружилась метель.

Не успел я одеться, как услышал из передней голос Ежикова:

— А? Право, как бы-нибудь... Я думаю, можно бы... Право, Архип Лукич...

— Не мудри, — кратко отозвался угрюмый Архипов голос.

— Помилуй же, как это можно: приехали и будем объедать... Ты пойми, Лукич, нельзя же так!.. Ворвались и будем проживаться!..

— Не мудри, сделай милость.

— Ах, какой ты, Лукич... Я, право, не знаю... У меня, знаешь... как бы тебе объяснить... У меня... ведь не успел я в управу, знаешь...

— Успеть-то ты успел!

— Как же успел... Что ты, Лукич!

— Успеть-то ты успел, — невозмутимо повторил Архип, — а рохля ты, вот что я тебе

скажу...

— Чудак ты!.. Ах, какой ты чудак!.. Ты видел: успели которые получили...

— Ты в управу ходил? — уже с сердцем спросил Архип.

— Ну, ходил...

— Секлетаря видел?

— Ну что же — видел...

— Секлетарь просил с тебя три целковых?

— Ах, Лукич...

— Нет, ты мне скажи: просил?

— Ну, просил...

— Просил! — передразнил Архип и с пренебрежением добавил: — Ну, рохля ты после этого и есть!

— Ах, как ты не можешь понять!.. Пойми — нельзя так... Нельзя, и я не мог... Ты какой-то чудной, Архип Лукич... Как же это так взятку... Это подло ведь... Это ужасно подло, и я тебе сколько раз говорил...

— Ну ладно, ладно — завел канитель... — снисходительно перебил Ежикова Архип.

Они помолчали немного.

— Так как, Лукич, право, ехать бы нам, а? — опять заговорил Ежиков.

— Чудак ты, паря, погляжу я... Ты глянь за окно-то, видел?

— Несет немного...

— «Несет»? Эх ты!.. Ты посмотри-ка-сь, избу-то видно ихнюю?..

— Что ж, что избу... По ветру бы как...

Архип помедлил ответом и, помедлив, вдруг воззвал, возвышая голос:

— Миколаич!

— Что?

— Ты в тепле?

— Ну?

— Я в тепле?

— Ну?

— Живот в приборе? (Под «животом» Архип, вероятно, подразумевал своего мерина.)

— Ну?

— Хозяин малый приятный?

— Ну?

— Ну, и не мудри.

Ежиков опять что-то стал возражать.

— Мы где? — опять спросил Архип.

— Ну, на Грязнуше...

— На Грязнуше?.. А Лески где?

— Что ж, по ветру, я думаю...

— Нет, ты мне скажи: Лески где?.. Сколько от их ворот, вот что, милый ты человек, мне скажи...

— Пятнадцать, семнадцать...

— Хватай выше!

— Ну, двадцать, наконец...

— Хватай выше!

Наконец помирились на двадцати двух верстах.

— Ну, ты и молчи, — наставительно заключил Архип, — сделай ты милость, помолчи!.. И я тебе прямо, Миколаич, скажу: вот видишь, сажу я на печке, в тепле, а Иваныч, ихний работник, за кулешом пошел... И нахлебуюсь я этого самого кулешу да опять на печку и залезу... И скажи ты мне тогда: «Архип! вот тебе осыпучая деньга — ступай в Лески». Ну, и как ты полагаешь, какой мой ответ будет?.. (Архип немного помолчал.) А возьму я вот эдак-то, милячок ты мой, да на другой бок и перевалюсь... (Послышалось некоторое шуршание, как будто и в самом деле Архип повернулся на печи) — вот тебе весь мой ответ!

— Да как же, Архип, ты не хочешь по-

нять, — умоляющим голосом возразил Серафим Николаич, — как ты не хочешь понять, что нам придется... даром все это!.. Заплатить, знаешь ли, надо...

— Что ты толкуешь, толкушка! — вдруг горячо и убежденно воскликнул Архип, — нешто в таком разе берут деньги... Чудачина ты... Тут произволение!.. Мы не зря как... — А еще ученый!.. Эх!.. Ты прямо так и так: Миколай, мол, Василич, я ежели простою у вас какую малость, вы считать ефтого не можете, потому — планида и все такое... — и с выражением полнейшего презрения добавил: — А еще учили вашего брата!

Ежиков стремительно выбежал из передней. Он был сильно взволнован. Виски и щеки его пылали румянцем, и на лбу мелкими каплями выступил пот.

Мне нет нужды посвящать читателя в те переговоры, которые имел я с Ежиковым по поводу его болезненной деликатности. Скажу только, что между нами было решено приехать мне как-нибудь в Лески и прогостить у него ровно столько же дней и ночей, сколько пробудет у меня он... На этом компромиссе

Серафим Николаич успокоился.

Установивши наши отношения, мы засели за чай, Архип, уже успевший нахлебаться кулешу, тоже был приглашен. Он поместился у притолки и с неутомимым усердием истреблял чашку за чашкою. Но, истребляя чай, он в то же время не уставал вести разговоры. И я заметил, что эти разговоры его велись им с ехидной целью: сконфузить, пристыдить учителя и, пожалуй, позабавить меня, выставляя на вид его особенности, уморительно смешные и странные, по мнению Архипа. Он как бы давал мне представление. И, само собою, в представлении этом играл роль воплощенного благоразумия, неизмеримого по своему превосходству над «малодушием» Серафима Николаича.

Так, между прочим, получилось следующее представление.

— Миколаич! — воскликнул Архип с обычным своим угрюмым лукавством.

— Что тебе, Лукич?

— Стосковались, поди!

— Кто?

— А «брать»-то!

Ежиков моментально вспыхнул.

— Ты, барин, поди не знаешь братьев-то наших? — обратился ко мне Архип.

Я, разумеется, изъявил недоумение. Серафим Николаич пылко и невнятно запротестовал.

— Помолчи, Миколаич, — остановил его Архип и, многозначительно помедлив, снова обратился ко мне: — ...А вот, к примеру, ежели мне жрать нечего, скотина какая была — подохла, подани стали, и самый я что ни на есть отёрханный мужичишка... И ежели я, к примеру, изобижен кем, аль опять вздерут меня в волостном за какие ни на есть художества... Что, аль сказать? — спросил он Ежикова, с уморительным простодушием стягивая кверху свои лохматые брови.

— Да полно тебе... Ах, Лукич... Ах, да не слушайте его... Он ужасный... Он ужасно все понимает...

— Ты погоди ужахаться-то... Что, аль стыдно перед барином?.. Не-эт, милячок, мне эти «брать»-то вот где сидят! — он патетическим жестом указал на затылок. — «Архип, становь самовар!.. Архип, беги за водкой!.. Лукич! Лу-

пи с пальтецом к целовальнику... Архип Лукич! Тащи к яму часики под заклад... У Фомки корова издохла!.. У Макарки кобылу увели... Митрошку за подань списали...» Не-эт; они, брат, братья-то эти...

Ежиков что-то снова торопливо и возбужденно заговорил.

— Остынь, — хладнокровно перебил его Архип, — остынь, Николаич, не закипай понапрасно... Ты мне вот что лучше скажи: ты кто? мужик? ай не мужик?.. У тебя родители из каких, а?

Ежиков смущенно и молчаливо глотал чай.

Архип обвел его высокомерным взглядом и снова обратился ко мне.

— Нет, вы спросите у него... — предложил он мне и, многозначительно помолчав, произнес громко и торжественно (не без примеси некоторой гордости): — Енарал у нас родитель-то, а родительница что ни на есть самая великатная енаральша!..

Прошло несколько минут не совсем легкого молчания. Серафим Николаич с упреком поглядел было на Архипа, но видя, что тот

ровно ни малейшего внимания. на него не обращает, в смущении обратился к своему стакану. Я тоже чувствовал некоторую неловкость. Только Архип, как ни в чем не бывало, тянул свой чай, отдувался и пыхтел, обливаясь чуть ли не десятым потом. Он, кажется, даже и не заметил нашего конфуза.

Речи свои Архип до сих пор произносил (как я уже и сказал) с каким-то угрюмым и, если можно так выразиться, важным лукавством. Но вдруг он неожиданно поставил на пол блюдечко с чаем и разразился самым искренним, самым подмывающим смехом. Мы тоже не могли не засмеяться, глядя на него, и смеялись с добрую минуту. Наконец, с трудом подавляя шумную веселость свою, Архип воскликнул:

— Миколаич!

Тот отозвался.

— Помнишь Миколу-то летнего?

— Ах, оставь, оставь, пожалуйста, Лукич!.. — с ужасом вскрикнул Ежиков и даже вскочил со стула. Но на Архипа это нимало не подействовало. Он удовольствовался только тем, что саркастически заметил ему: «Что, ай

не любишь?» и затем, обращаясь ко мне, продолжал:

— Летось на Миколу, сижу я в избе — он у меня хватеру-то держит... (Архип кивнул на Серафима Николаича, который порывисто шагал по комнате и от времени до времени пытался остановить некстати откровенного рассказчика.) Ну, сижу я, братец ты мой, — только хвать — алёшка...[1] «Господин Серафим Миколаич здесь?» — спрашивает... «Нет, нету здесь господина Серафима», говорю. «Где ж они?» — «С ребятишками на леваду пошли». А уж дело к вечеру. «Тебе на что, говорю, господина Серафима?» — «А мамана ихняя приехамши, енаральша...» Как так!.. Я схватился с коника, бежать!.. Бегу я, братец ты мой, вижу этак у задворка карета... Ах, дуй-те горой!.. Я на леваду... Вбежал я на леваду и только вижу, лежит этот самый господин Серафим на брюхе и с ребятками канитель разводит...

«Ты что ж это, друг любезный, — говорю ему, — мать твоя енаральша и все такое, а ты тут с мужицкими ребятишками проклаждаешься!.. Ты как же это, а?..» Ну, нечего ска-

зять, потазал-таки[2] я его... Так что ж ты думаешь? — упирается... Скажи ты, говорит, мамане, выбыл, мол... Есть, говорит, такое мое желание маману эту не видать... А?.. Штукарь, тоже... Нет, говорю, уж это ты не привередничай, милячок, а ступай-ка Варвара на расправу... Ну, делать ему нечего — пошел. Только шел, шел я за ним, да на задворок и забеги. Забег я на задворок, глянул в карету — пуста... Я в избу. Только вошел я в избу, глядь, самая эта его мамана-енаральша... вроде как на карачках!.. Алёшка мечется вокруг ей, в мурло ей чего-то тычет, а она только, братец ты мой, лапками перебирает... Ну, думаю, оказия!.. «Ты что, — кричу на него (Архип опять кивнул на Ежикова), — аль ошарашил чем ее?» Промеж нас бывает это: иной раз так-то сынок маменьке гвоздя отрубит, что любо-два... (в скобках пояснил он)... Ну, нет, не видно, чтоб ошарашил: ни шворня чтоб, ни узды... А так, кулаком ежели — не способно ему: ишь, он квелый какой! а мамана эта из себя баба хоть куда... Ядреная баба!.. Только малость годя очнулась... Очнулась она, и пошло у них тут, я тебе скажу... И пошло, и

пошло!.. Он ей слово — она двадцать, он-то по-нашински, она черт-те по-каковскому норовит... Чесались, чесались... ах, пропасти на вас нету!.. — Миколаич! — воскликнул Архип после краткого молчания и, не получив ответа, добавил: — Серчаешь? ну, пущай!..

— Ну, какой ты, Лукич!.. вовсе я не сержусь... Но я не знаю, как это... Я ведь, помнишь, просил тебя... Это, право же... да, это не... не... ловко!.. И мне ужасно совестно... Вы непременно меня извините, Николай Васильич — и я не знаю, какой он... Это... это ужасная наивность... О, поверьте... и вы непременно, непременно извините меня...

Всю эту тираду Ежиков произнес с необычайной горячностью. Нужно заметить, что в его речи были некоторые слова, на которые он напирал с особенной настойчивостью, повторяя их по нескольку раз кряду и беспрестанно возвращаясь к ним.

Пока Ежиков говорил, Архип степенно допил свой несколько остывший чай, а допив, с таковой же степенностью попросил новую чашку, и затем уже снова перебил Серафима Николаича:

— Нет, я об чем, Миколаич... Скажи мне в ту пору эта самая твоя мамана: «Архипка! имеешь ты к сыну моему заблудящему подверженность?» Имею, мол. — «Ну, крути ты его, друга любезного, вожжами и тащи ты его в карету — есть такое мое намерение к енаральству его оборотить...» И взяли бы мы тебя, сокола, с ейным алёшкой под микитки!..

— Вот слушайте его! — вдруг рассердился Ежиков, — вы не знаете, что такое... Ты не знаешь, что такое «енаральство»... Это... вертеп... Это... это ложь и разврат... Ах, право, как это все... — Он с тоскою махнул рукой и уж исключительно обратился ко мне: — Видите! Вот смотрите на него... Год! Целый год живу с ним... Говорю ему, читаю... И вдруг является карета, и он за эту карету мерзкую, за поганые эти гербы... О, вы не поверите, как это ужасно... Он знает меня, знает — не могу я «енаральствовать»... О, он знает, что я живу им, Архипом, что я дышу Фомою, Макаром... Он знает это, но является «енаральша» с своим «алёшкой», с своей каретой, со всем своим подлым, чужеядным престижем, и он готов силой водворить меня в этот омут... Он, види-

те ли, готов «вожжами меня скрутить»... и скрутил бы... О, непременно, непременно бы скрутил... И вы не знаете, как это все ужасно...

— Ведь он от любви... — возразил было я.

— Ах, не это, не это... — с тоскою воскликнул Ежиков и мучительно наморщил лоб свой, — о, не это!.. Видите ли, они... я не знаю... Но, они не понимают... Именно — не понимают... Вот что ужасно!.. (Тут, опустив голос свой почти до шепота, он как бы с некоторой болью повторил: «ужасно, ужасно»...) Я знаю, что «от любви»... Я знаю, любя он желал бы моего водворения в эту отравленную среду, где дармоедство — доблесть, а труд позор... Знаю, ибо среда эта — идеал и Архипа, и Фомы, и Макара... И вы вдумайтесь в это слово: идеал (слово это Ежиков произнес с расстановкою), и затем с злобой добавил: — О, дармоедство, возведенное в куб, еще бы не идеал!.. Но я не об этом... Но это пустяки... Главное — обойдутся они без меня!.. Вот что главное... И знаете ли, это очень жалко... То есть, вы понимаете, я не о себе говорю, я говорю: обойдутся они без интеллигенции-то, и так

обойдутся, что даже и пустоты-то не восчувствуют после нее... Вы говорите: «любят»... Но, боже мой, не любви надо, но нужно непременно, чтоб ценили они... ценили б меня, но не любили... Без любви я обойдусь... да, я обойдусь без любви! (Последнее Серафим Николаич повторил с раздражительной настойчивостью и как бы оспаривая кого-то.) Но без цены... Без цены я не могу жить, ибо она, цена эта, есть единственный мой *raison detre*... [3] О, единственный *raison detre*!

Он внезапно замолчал и впал в задумчивость, но вскоре снова воскликнул:

— Главное — обойдутся они без меня... Исчезни я из Лесков, и лесковцы пожалеют меня, как Миколаича, но не пожалеют во мне ничего, кроме «Миколаича»... О, это главное!.. Вы не поверите, как все это... Да, да, все это ужасно и... тяжело... Вы спросите вот у него, что я в деревне?.. Ну, слросите-ка!.. Он вам и скажет: «Душевный человек»...

Архип на мгновение оторвался от блюдечка с чаем и насмешливо скривил лицо. Но Ежиков ничего не замечал: засунув руку за борт своего пиджачка, он другою с нервиче-

ским беспокойством пощипывал свою бородку и то присаживался на кончик стула, то нетерпеливо вскакивал с него и быстрыми шагами мерил комнату. Взгляд его глубоких глаз был тускл и рассеян. И, казалось, не на вас он был устремлен, а куда-то внутрь, где с мучительным упорством следил за развитием какой-то тяжелой мысли.

Вьюга с неутомимым постоянством была в окна, металась и шумела. Сугробы, видимо, возвышались. Самовар едва заметно звенел однообразным, надоскучным звоном.

— О, поймите же, — продолжал Ежиков, — что мне вовсе, совсем не нужно это милое качество «душевного человека»... Что такое «душевный человек»? Тряпка ваш душевный человек... Ну да, тряпка!.. Но допустим — я тряпка... пускай так... Это он верно насчет «пальтеца»-то сказал, и этого бы по-настоящему делать не следовало... Но есть же во мне что-нибудь, кроме-то тряпки? Есть же!.. и притом нечто неизмеримо важнейшее, чем все мои тряпичные свойства... О, неизмеримо важнейшее!.. Деревня бедна, да?.. Голодуха, дифтерит и проч., и проч... О да, деревня очень

бедна!.. И это ужасно важно, необыкновенно важно... Да, важно. Но видите ли, тут возникает вопрос, что важнее — то ли, что у Макарки хлеба нет, или Макаркина вера, что солнце «в лунки»[4] на ночь прячется, и что власть какая-то мифическая завтра землю переделит, и к нему, Макарке, барский яровой клин отойдет (может быть «завтра», а может быть и не завтра, а через неделю, через год, через десять лет, наконец! — в скобках заметил Ежиков, — и эту неопределенность времени, вы заметьте... Вы не забудьте, что мне незачем навозить мой десятинный надел, ибо завтра, сегодня даже, к моим услугам целый барский «клин»... О, вы это заметьте и не забудьте!). Итак, что важнее?.. Человек-тряпка — (они называют это «душевный человек») — заложит «пальтецо» и накормит Макарку, а Макарка набьет брюхо да опять насчет «лунок» мечтать примется... О, я знаю, что я подлость говорю, презирая Макаркино брюхо... Вы простите и извините меня... Непременно извините... Но все это вздор... Вы понимаете меня?.. О, конечно, понимаете!.. Макаркино брюхо очень важно, чрезвычайно

важно... Но с другой стороны, оно галиматья... Или не так: оно важно, видите, но в сравнении с «лунками» оно ничтожно... Именно, ничтожно. — Ну, вот теперь и скажите. «Душевный человек» — будем называть, как они — кроме того, что Макарку накормит, положим, имеет еще целый запас всяческих знаний, для деревни просто драгоценных: и об «лунках», и... о прочем. Все, до чего додумалась наука по части «лунок», все, что выработали самые здравые человеческие отношения (это по части барского ярового клина) — он предлагает деревне... И не думайте, чтобы деревня пренебрегала этим запасом... О нет, иначе я бы не жил... Но, боже мой, — в конце концов Макаркина сытость (временная, заметьте, ибо «пальтецо» у меня одно) — составляет мое реноме, а мнения всех этих Коперников, Галилеев и Ньютонов насчет «лунок»... О, за эти мнения я прослываю «блаженным», или нет, виноват, мужички благодушны... не «блаженным», а «блаженненьким». (Серафим Николаич желчно рассмеялся.) Знаете ли, как я думал о них, об их бедноте... О, я не знаю... Я ночей не спал... Ах, помните «Мцыри» («юн-

керского поэта», — заметил он в скобках и опять желчно засмеялся).

*...Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской...
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу...*

— Но это все вздор! — внезапно заключил он и внезапно же вспыхнул до корня волос, — и это неважно... И вообразите! — с новою силой воскликнул он, увлекаясь своею мыслью. — Все, к чему я готовился, все, чем я запасался с неутомимым рвением, все, для чего я бросил гимназию с ее Кикеронами и Саллюстиями⁽²⁾ (у нас почему-то произносили не Цицерон⁽³⁾, а Кикерон), с ее ранжиром и тупоумнейшим фарисейством⁽⁴⁾ — все это оказалось совершенно ненужным... Все эти там физики, астрономии, все эти — заметьте, элементарные — понятия о боге, о правде, о свободе, все это, повторяю, оказалось самым чистосердечнейшим балластом... Впрочем, я уж говорил это... Знаете ли — я повторяюсь... Но это вздор, и вы простите... Ну, и что же? Ну, и не будь во мне тряпичных свойств (заметьте, чисто природных), не таись во мне качеств «ду-

шевного человека», и не сопровождайся эти качества ежемесячным двенадцатирублевым бюджетом (это в море-то, — что я говорю! — в бездне-то народных нужд...), деревня даже не узнала бы: друг ли я ей, враг ли... И вот, смотрите теперь: первейший мой благоприятель, Архип Лукич, водворив меня посредством вожжей в «енаральство», когда-нибудь за ко-сушкой пожалел бы обо мне, о «господине Серафиме» (о, непременно бы пожалел!), но никогда бы и не вспомнил о том запасе знания, который исчез из деревни вместе с исчезновением господина Серафима... Знаете ли, это что-то такое... такое нелепое и такое даже ужасное, что я не знаю... не знаю... Простите я повторяюсь... Но... и извините, пожалуйста.

Ежиков вдруг смутился и, как провинившийся школьник, опустил на стул.

Архип все время преспокойно тянул чай (боже, сколько он опорожнил чашек!), отдувался и отирал платком пот, изредка насмешливо покачивая своею огненно-рыжей головою. После того как Серафим Николаич умолк, он шумно и наскоро высосал последнюю каплю чая с блюдечка и произнес, обра-

щаясь ко мне:

— Насчет лунок — это он верно. Народ глуп. Народ рассказывает, что за морем лунки накопаны, одна подле другой, и на закате и на восходе... Вот в эти лунки солнце и хоронится на ночь. Знамо, брешут!

— Это верно, что брешут, — согласился я, — как же солнце может прятаться в лунки, коли оно наутро совсем с другой стороны выходит?

— А уж это планида! — развел руками Архип.

— Что за слово такое! — с негодованием вскрикнул Ежиков и, как ужаленный, вскочил со стула, — ну, что это за планида, скажи, сделай милость?

— Вона! известно что — произволение!

На этот раз развел руками Ежиков.

— Вы ведь что думаете, — обратился он ко мне, — ведь он говорит теперь: «Народ глуп», — но знаете ли, я положительно уверен, что сам он в эти «лунки» верит и ничем вы его с них не собьете... О, ни за что не собьете!.. И это, знаете, просто ужасно... Ужасно!.. — Он опять скорыми и частыми шажка-

ми заходил по комнате и порывисто задержал свою бородку...

Архип не сразу ответил. Он сначала встал, степенно помолился, поблагодарил «за чай, за сахар» и, уж выходя из комнаты, небрежно проронил:

— Уж как ты там хошь, Миколаич, а земле тоже вертеться не приходится. Это уж прямо надо сказать. Это ведь, паря, не веретено!..

Впрочем, Архип не придавал, по-видимому, особого значения солнечной системе, ибо разговор о ней поддерживал вяло. Далеко не с таким интересом, как вопрос о «братьях» и «енаральстве».

— Видите, видите! — возмущался Серафим Николаич неуважением Архипа к авторитету «Коперников, Галилеев и Ньютонов».

По уходе Архипа и после того как Ежиков почти совершенно уже успокоился, я полюбопытствовал узнать, в чем же видит он *raison d'être* своего проживания в деревне, если деревня эта остается совершенно чужда ему, как вместилищу «драгоценных знаний».

— Как бы вам сказать... — ответил он, — как ни грустно признаться, но только роль

капли, долбящей камень, дает мне мир с моею совестью... Только роль капли. О, это не романтично, знаете, и от этой капли до белой лошади красавца Лафайета⁽⁵⁾ и до красивых шелковых знамен очень далеко, но, видите ли, вся суть-то пока в этом... О, слова нет, это тяжело, ужасно тяжело, но это и единственный путь наш... И, знаете ли, у этого сухого и как бы невыразимо прозаичного пути есть своя подкладка, которая пожалуй что и любому поэту дала бы богатую тему!.. — Ежиков оживился и заблестел. Помирить народ с «детьми бича», расширить его мысль, просветить его разум и, главное, снять повязку с его глаз, научить его различать врагов от друзей своих... о, это, знаете ли, такая задача, такая... И задачу эту именно нам, интеллигенции, необходимо, неизбежно надо выполнить... И необходимо отучить народ судить о нас либо как о барах, либо — о блаженных шутах каких-то, о каких-то немцах с русской речью — вот что необыкновенно важно!.. И этот путь — единственный путь наш... Это медленный путь, вы скажете? О, несомненно медленный, я знаю, и это ужасно, но все-таки

неизбежно... Я погорячился недавно и наговорил о них много злых вещей... Это, видите, опять-таки нельзя иначе, это, знаете ли, плоть и кровь во мне говорит, но не разум... О, нисколько не разум!.. Когда я злюсь на них — во мне говорит романтик, который скучает иногда без шума развеваемых по ветру знамен и без видимого разгрома враждебных бастионов... И это неважно... Пусть... пусть я не вижу следов копотливой работы... И не увижу... Разум и совесть мои говорят мне: «Да, капля долбит камень...» И я долблю... И вы замечайте прогресс: нынче меня, как колебателя основ, мужики крутят вожжами и преподносят господину становому приставу (и не подумайте — за что-либо «важное» крутят, о нет, — просто за «лунки»... и скручивание за «лунки»-то я именно и подразумеваю), — а завтра уже не крутят, а зовут «блаженным», послезавтра, еще уступка — меня величают «блаженненьким»... И придет день... О, непременно придет! — восторженно воскликнул Серафим Николаич, и народ сердцем своим широким полюбит «кающегося дворянина». И полюбит не за «душевность»

его — этак-то он иногда и помещиков своих любил и от этого избави боже, — а именно за знание и за честность... За честность полюбит, и это главное!

Ежиков замолчал и долго рассматривал своими близорукими глазами пробу чайной ложечки, но вдруг порывисто бросил эту ложечку и снова заговорил:

— Да и куда идти нам, если не в деревню?.. Чем лечить нам нашу «больную совесть», — ибо, что ни говори, а совесть-то у нас больная... Я не знаю, знаете ли... Ужели гнездышки сооружать наподобие Молотова?⁽⁶⁾ Или в лямку к кулаку идти — к железнодорожнику, фабриканту, крупному землевладельцу?.. И я даже недоумеваю... служить ли вы нас по акцизу пошлете или толочь воду в качестве «господина товарища прокурора»?.. Или не земцем ли, скажете, подвизаться?.. (Ежиков иронически скривил губы)...на побегушках у его превосходительства. Да и помимо побегушек — случалось ли вам бывать в уездных земских собраниях? Случалось? Ну, не казалось ли вам, что собрания эти подобны столпотворению вавилонскому: дворяне по-ан-

глийски «чешут» (как говорит Архип), купцы — по-китайскому, а мужики в свою очередь по-зеландски норовят... Впрочем, мужички-то большею частью знаки вопрошения изображают... Ну да, так вот видите, и земцем как-то как будто совестно... О, я не говорю... я не гоню так-таки непременно всех в деревню... я только уверяю, что нужнее-то всего мы именно в деревне, и там, только там, наше настоящее место! То есть оно, видите, ступай, пожалуйста, и в земцы, но уж не ломай из себя Гамбетт микроскопических, а смирись и приникни к самой черной, к самой что ни на есть низменной земле, и тогда, пожалуйста, будет благо...

— Все это так, милейший Серафим Николаич, — возразил я, — и ваша подъяремная работа «капли» действительно заслуживает всяческого уважения, но вот вопрос: урядники-то?

— Что ж урядники, — задумчиво произнес Ежиков, — ведь, ежели по совести-то говорить, основ-то мы не колеблем... А потому я, знаете ли, думаю: что ж урядники... — Он замолчал и поникнул головою, но вдруг взгля-

нул на меня и рассмеялся: — А ко мне уж наведывался, знаете, какой-то отставной юнкер Палкин, — сказал он, — и даже Милля⁽⁷⁾ у меня проштудировал!.. Прямо так-таки во всей сбруе вломился и первым долгом за Милля... Боже, каких трудов стоило ему выговорить: «У-ти-ли-та-риа-низм»!

— Ну и что же?

— Заподозрил! — смеясь, ответил Ежиков.

— Ну, и подлежащим порядком?

— О да: к господину становому приставу.

— А господин становой пристав?

— К господину начальнику уезда.

— А господин начальник уезда?

— Оказался знающим грамоту.

— Стало быть, «ослобонили» Милля?

— О нет — отобрали.

— Как же это? — удивился я.

— Нашли, видите, неуместным сочинение «господина Милля» в библиотеке сельского учителя и порекомендовали «вместо неуместных господ Миллей» поревностней штудировать «Золотую грамоту» господина Ливанова

{8}

— Как? эту... «Золотую грамоту»?

— Эту... «Золотую грамоту».

— Ну, а Палкину что?

— Ему за усердие, знаете, три рубля... впрочем, без пропечатания в «Губернских ведомостях». Но, видите, надо оправдать их, — голое невежество, знаете... и притом ужасно изломаны они!.. О, ужасно изломаны! Впрочем, Палкин исчез-таки. Вздумал он, знаете, на престольном празднике «устав о предупреждении и пресечении»⁽⁹⁾ пропагандировать, ну, и само собою, во всеоружии: с шашкой и револьвером. Ну и, разумеется, сломал голову.

— Тоже «без пропечатания»? — засмеялся я.

— О да, разумеется!.. И вообразите, только «отставлен»!.. Ну, что толковать об этой мерзости! Все это, знаете, и смешно и возмутительно... Серафим Николаич с пренебрежением махнул рукой.

Но спустя четверть часа он снова возвратился к этой теме, и на этот раз уже не со смехом, а с сокрушением.

— Да, это чрезвычайно важно, — сказал он, — и знаете ли, какая великая, непрости-

тельная ошибка будет все это...

— Что? — спросил я, не совсем поняв Ежи-кова.

— Все это... — рассеянно ответил он. — Я не знаю, но сколько муки и горя натворит все это... Заслонить деревню от струи, которая в сущности-то и неудержима, оградить деревню от простых, добросовестных работников, о, это великая ошибка!.. И, знаете ли, куда бросится эта стремительная «живая» струя, если загородить ей доступ в деревню, если не дать ей возможности сослужить немудрую службу в деревне, — службу в качестве пионеров цивилизации, настоящей, неподдельной цивилизации, и во всяком случае не той, про которую говорил Потугин...^{10} О, я не знаю, но я мучительно чувствую эту новую дорогу... Мрак и кровь, гибель и мука нестерпимая... Ужасно, ужасно!.. И что всего хуже — ведь и некуда больше... По совести, некуда!.. Знаете, сказка есть такая, самая простая, мужицкая сказка... И вот в сказке-то этой едет по дороге богатырь... Едет он, видите ли, и достигает перекрестка. На перекрестке столб и надпись: «Поедешь направо тебе смерть, поедешь на-

лево — коню смерть...» А в коне-то, между прочим, и вся суть!.. Так, знаете ли, вот наподобие богатыря этого мне и поколение наше представляется...

Он оперся пылающим лбом на руку и с печалью задумался.

— И вот еще вы заметьте, — вдруг прервал он молчание и снова с какою-то злобой рассмеялся, — курьез заметьте: целое поколение насильно поделать романтиками, насильно поставить идеалом этому поколению апофеоз «марсельезы» (есть такая картинка романтика Дорэ⁽¹¹⁾), вытравлять урядником скромный и серенький идеал «капли, долбящей камень», — чем не курьез и чем не смех?.. О, я не знаю, как все это... — Он внезапно остановился, помолчал и уже в совершенно ином, бодром тоне добавил: — Но будем надеяться и не покладать рук!

— Будем долбить камень? — сказал я.

— Будем долбить камень, пока нам позволят, — твердо ответил Серафим Николаич.

— А не позволят?

— Тогда... тогда разобьем головы наши об этот камень.

— Ради того, что с Архипом спорить об «лунках» стало невозможным?

— Ради того внутри и ради «конечных» идеалов снаружи.

— На что же двойственность-то, этого я не пойму?

— О, нет двойственности! Совсем нет... Но, видите ли, это я вам говорю так ясно и так... ну, правдиво. Большинство этого вам не скажет... О, ни за что не скажет!.. Большинство поставит вам такую веху, до которой пожалуй что и в тысячу лет не доберешься. Оно дорого ценит свои головы, и это понятно, — но в душе, но сердцем своим, «нутром», как выразился бы Архип, именно о «лунках» оно только и хлопочет... И ничем вы меня не разуверите в противном... О, ничем не разуверите!

Я допустил нескромность: спросил у Серафима Николаича, что, если его-то лично «вытравят» из деревни... Он долго не отвечал и, казалось, колебался, но когда ответил, был бледен и как бы сконфужен тем, что говорил. Вот что он ответил мне:

— Видите ли, я не знаю... Чрезвычайно трудно, знаете ли... И я никогда не думал об

этом... О, никогда не думал!.. Но если... Если, вы думаете, будет это, я, мне кажется... Не знаю, но я разбил бы себе череп... И вы не думайте (он подхватил это очень живо), — и вы не подумайте, что я прав... О, конечно, неправ... Но знаете ли... я ужасно... ужасно... не люблю романтизма!

— Но вы сами романтик! — воскликнул я.

Мы в тот день обедали, еще и еще пили чай, толковали о том о сем и между прочим о литературе. Взгляды Ежикова на литературу были не без оригинальности. Ко всему в литературном мире он относился, памятуя деревенские интересы. Правда, интересы эти заставляли его иногда делать и ошибки и даже несправедливости. Это особенно случалось, когда он не мог найти прямой и непосредственной связи известного литературного произведения с деревней и ее интересами. Так, например, не одобрял он антологию⁽¹²⁾ и, несмотря на присутствие несомненной эстетической жилки, не находил капли хорошего в Щербине⁽¹³⁾. Любимейшими его поэтами были Кольцов и Некрасов (впрочем, он не называл их «лучшими» поэтами, а величал «сим-

патичнейшими»). Пушкина за «Онегина», «Капитанскую дочку» и многие мелкие пьесы он боготворил, но пренебрежительно отзывался о его сказках и называл красивой побрякушкой и «Цыган» и «Полтаву». Вообще все то, в чем целостно отражался дух народный, он почитал высоко. В этом у него даже замечалось что-то как будто и славянофильское. Так, декламируя пьесу Пушкина «Зимний вечер» и до умиления восторгаясь первыми двумя строфами, а особенно этим местом:

*...Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена? —*

он чрезвычайно смешно и пылко вознегодовал на последние строфы пьесы и упорно доказывал, что выражение поэта:

*Выьем, добрая подружка,
Бедной юности моей,
Выьем с горя; где же кружка?*

не свойственно народу русскому. «Это ме-

сто пьесы, — толковал он, прямо переносит меня куда-нибудь на берег Немецкого моря или в Норвегию какую... Как выговоришь „где же кружка?“, сейчас тебе пиво мерещится, а за пивом колбаса или ячменная лепешка...»

Иностранную литературу он понимал и ценил, но как-то холодно, и только к Шекспиру да Гетеву «Гецу»^{14} питал большую склонность. Байрона ненавидел, не любил Гюго да и вообще французов, помимо Беранже^{15}, но высоко ставил Ауэрбаха^{16} и Брет-Гарта^{17}. Особенно ауэрбаховские деревенские рассказы да первую половину романа «На высоте» любил он. Мне кажется, то свежее и здоровое мирозерцание, которое разлито и в лучших вещах Ауэрбаха и в рассказах Брет-Гарта, особенно привлекало Ежикова. Вероятно, по этой же причине восхищался он скучнейшим романом Шпильгагена^{18} «Немецкие пионеры». Самая натура, как мне казалось, тянула его к свету и здоровью; все больное в мысли и даже все мрачное, все пессимистическое просто как бы пугало его, и он с каким-то ужасом от всего этого отмахивался руками. Вследствие этой-то врожденной склонности своей

О многих произведениях литературы он не мог говорить равнодушно, а говорил с искреннею злобой и даже дрожанием в голосе. Такое негодование возбуждали, например, в нем произведения Достоевского. «Он, злодей, жилы из себя тянет, — говорил про него Ежи-ков, с медленным наслаждением наматывает их на руку да и разглядывает в микроскоп... Извольте-ка сопутствовать ему в этой работе!» Без нервной дрожи не читал он и байроновской «Тьмы»^{19}, а Эдгара Поэ^{20} так просто проклинал.

По философии взгляды его были не особенно определены. Несомненно, впрочем, то, что он не совсем сочувствовал позитивистам^{21}; мне даже казалось иногда, что он не прочь и от Гартмана^{22}, но во всяком случае, без гартмановских мрачных выводов. Впрочем, вернее сказать, что по части философии в нем была-таки путаница. Мне думается даже, что и воззрения деревни не остались без воздействия на его философское мировоззрение. Недаром известное переложение Пушкиным молитвы великопостной («Отцы-пустынники и жены непорочны») вызывало в нем ка-

кое-то, пожалуй даже и наивное, восхищение, и я уверен, не одно только эстетическое наслаждение заставляло проникаться его голосом умилительной теплотою, когда он декламировал:

*...Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о боже!
прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет
осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи...*

Вообще, в нем ничто не напоминало «нигилиста»^[23]. Ни сапоги выше Шекспира, ни лягушку выше Пушкина он не ставил. Всему он отводил свое место: и Пушкину, и лягушке, и Шекспиру, и сапогам. И даже мало, что Пушкину, он даже Фету^[24] уделял почетное место (а это ли не ересь!), и если был к нему равнодушен, то только за космополитизм, который опять-таки, вопреки Базарову, терпеть не мог.

«Сердцем я его не переношу, — жаловался он мне, — и это очень, очень жаль, ибо последнее-то слово все-таки „космополитизм“!»!

Мало того — Фета не отрицал, он даже шел дальше... Он не отрицал, а любил и опять-таки уделял почетное место пейзажу — просто голому, бестенденциозному пейзажу с полем на первом плане, с ивой и озером на втором. Он еще дальше шел: он восторгался «Дианой» Гудона^[25], хотя и осуждал в ней некоторую апетитность. (Впрочем, восторгался он в статуе собственно не античной богиней Дианой, а красотой без отношения ко времени.)

Но давая всему этому свое особое место, он в то же время говорил: этим не время заниматься, это для нас роскошь и баловство, это отвлекает от дела, и т. д. В этом замечалась сознательная суровость к себе, к своим инстинктам цивилизованного человека, но отнюдь не отрицание и не злоба. Так, он с каким-то комическим сокрушением признавался мне, что не может расстаться с Пушкиным и продать копию с пейзажа Мещерского^[26]; «хотя часто и часто следовало бы продать» — добавлял он.

Вьюга во весь день не утихала. Сугробы до такой степени возвысились под окнами, что вечером оказалось невозможным закрыть ставни.

Вечером разговор у нас с Ежиковым не возобновлялся. Он разыскал в моей скудной библиотечке какую-то еще не читанную им книгу и не отрывался от нее часов до четырех ночи, читая даже в постели.

Наутро я проснулся в обычное время, но, к удивлению моему, в комнате было еще темно. Я укрылся поплотнее и уже вознамеревался снова заснуть, как вдруг часы нежданно и негаданно пробили восемь. Я зажег спичку и посмотрел на карманные: и на них стрелка близилась к восьми.

В комнате царила какая-то подозрительная тишина. Эта тишина угнетала. Только в трубе едва слышно гудела вьюга. Я огляделся. В одно из окон проникала узкая полоса света. По мере того как глаза мои привыкали к полумраку — дело объяснялось. Нас замело снегом! Снег голубоватой массой прилег к стеклам, не пропуская в комнату ни шума вьюги, ни света. Как я уже и сказал, только в одно ок-

но, как бы украдкой, проникал день. Я подошел к этому окну и долго с напряжением вглядывался в кусочек стекла, не занесенный снегом: за этим стеклом крутилась и вилась непроницаемая метель. Какое-то жуткое чувство обнимало меня, комната казалась мне склепом. Мне казалось, что еще мгновение, — и я задохнусь в этом склепе. Грудь моя как-то ныла и болела тоскующей болью. Среди глубокой тишины, прерываемой только безмятежным дыханием спящего Ежикова, часы как-то особенно твердо и сухо отчеканивали такт.

И я вздохнул с радостью, когда в сенях слышался какой-то стук и раздались голоса Архипа и Семена. Я наскоро оделся и вышел к ним.

— Ну, оказия! — встретил меня Архип, а Семен немедленно подтвердил со вздохом: — Уж точно что оказия.

К счастью, дверь на крыльцо отворялась внутрь. Когда мы отворили ее, перед нами оказалась гладкая снежная стена. В верх этой стены ударили лопатой, — мягкая глыба грузно упала вниз и разбилась мельчайшею пы-

лью. После нескольких таких ударов на нас хлынул свет и до слуха нашего донесся гул погоды. Снег, заслонявший дверь, нам, стоявшим в полумраке сеней казался голубым.

Через час сообщение с избою было возобновлено и от окон открыты сугробы; в печах затрещали дрова, и ярко-медный самовар весело заклокотал на столе

Ежиков все еще спал. Так как о поездке в Лески нечего было и думать, ибо погода несла, кажется, еще пуще, чем вчера, — я и не стал будить его. Стали мы пить чай вдвоем с Архипом.

— Ну что, Архип, — сказал я, желая навести разговор на вчерашнюю тему, — как «братья»-то, ждут вас?

Архип усмехнулся, но, к удивлению моему, иронического отношения к учителю на этот раз не выказал.

— Человек-душа, — сказал он, — миляга-парень!.. Небось нам не нажать такого, шалишь... Это такой... он, брат, последнюю рубашку рад с себя спустить — абы на пользу.

— Ну, и любят его в Лесках? — опросил я.

— С чего не любить, — любят. Только из-

вестно, какой наш народ, — народ оголтелый. Где бы пожалеть человека, а у нас этого нету. У нас этого нет, чтоб по совести. У нас всякий норовит рубаху снять. Народ бессовестный.

Мы некоторое время пили чай в молчании.

— Вот ономясь было, — вымолвил Архип. — Есть у нас мужик Вавилка. Вавилка Балабон. Ну, и помри, значит, у этого у Вавилки баба. Ну, чего тут толковать еще? Померла, и шабаш. Ан — нет. То-то народ-то у нас, говорю, бессовестный. Пришел Вавилка к Николаичу, сидит да ноет. Николаич книжку читает, а он ноет! Уж он ныл, ныл... ах, пропасти на тебя нету... Ну, и что ж ты думаешь? Ничего этот Вавилка не просит, а только об корове... Ноет об корове, и шабаш! Осталась от бабы-то девчонка, от грудей, значит, ну, а коровы у Вавилки нету... Фу, будь, ты проклят!.. Ну, ныл он так-то, ныл, Николаич взял часики да к Архаилу (кабатчик)... — Архип помолчал и затем с негодованием воскликнул: — Что ж ты думаешь, ведь купил Вавиле корову!

Он опять немного помолчал и, помолчав, с жалостью добавил:

— Так и страдает теперь без часиков.

— Вот насчет земли еще! — внезапно вспомнил Архип.

— Какой земли?

— А куляевской. У Куляева у барина земля в сдачу ходила. Ну и ходила она, брат ты мой, вразброд, в розницу; все в розницу ходила. Только, значит, Миколаич и говорит старикам: «Старики, говорит, берите вы куляевскую землю, чтоб сообща, — я как ни-то обста-раюсь». Ну, порешили взять сообща. У Миколаича с Куляевым барином дружба, он и об-старался. Страсть хлопотал!.. Ну, сняли. Хоро-шо. И только, брат ты мой, первый год посея-ли мы всем миром, в одну запашку, как на ба-рина, бывало, севали. Посеяли всем миром, все как след, по совести... Миколаич и земли под ногами не чует — рад!.. Ну, только, — ска-зано, народ бессовестный, — как пришли, значит, подушные, Архаилка выкатил, выхо-дит, десять ведер да задал деньгами, ему и отошла куляевская земля.

— Как отошла?!

— А так: права передали.

— Стало быть, из подушных уж он вас вы-

ручил?

— Из подушных выручил, как же!..

Архип опять немного помолчал, а затем продолжал:

— То-то народ-то бессовестный. Миколаич что? Миколаич человек расейский. Он как хлопотал, а они замест того... Архаилу!

— Да ведь нельзя было иначе?

— Это насчет подушных?

— Да.

Архип глубокомысленно подумал и, подумавши, отвечал:

— Можно бы. Можно бы так: взять с Архаила с этого за кабак, за приговор, да в подушное и оборотить.

— Ну, и что же не сделали так?

— Загвоздка вышла. У нас сыспокон веку заведено деньги за кабак — на пропивку. Как придет Покров, — на Покров мы их и порешаем.

— Стало быть, поэтому и передали землю?

— Ничего не поделаешь. Тоже надо и бога помнить. Батюшка Покров винцо любит. — Тут Архип как бы спохватился и совсем неожиданно добавил: Оголтелый народ!

— Так все и согласились кабачные деньги пропить, а землю на подушное?

— Ну нет. Какие непьющие, те рук не давали. Тоже ловки...

— Ну, я бы на вашем месте оставил землю!

Архип исподлобья посмотрел на меня и с горячностью ответил:

— Я тебе говорю, народ-то наш... — Он загнул крепкое словцо. — Как стал Архаилка про землю: то да се... Малый — пес! Ну, и старики за ним: «Как ты ее, то ись, сообща будешь, ты пашешь на одре, а я на мерине, ты косишь с оттяжкой, а я по совести, у те поясицу схватило, а я за тебя ворочай...» И так еще толковали: «Как будем аренду сбивать? Сосед завиляет — ты плати, сват запьет — у тебя голова с похмелья...» Вот и расползлись.

— Ну, что же Серафим Николаич?

Архип с сокрушением махнул рукою.

— Извелся! Я так и думал, в запой войдет. Пуще всего Архаилка его убил... И чем ведь убил, пес! — пустяковиной убил... Шла у нас толковня на сходке про землю про эту. Только идет у нас эта толковня, и вдруг видим мы, начал нас Миколаич ругать. Ругательски по-

чал ругать! И так он этим стариков пронял — старики даже застыдились... Застыдились они и только, видим мы, стали сбиваться... Дальше — больше... Глядь — Архаилка: «Аль вы ополоумели, старики, говорит, разуйте глаза-то! Кого вы слушаете!.. Ты лучше, Николаич, чем про землю, про гром да про молонью расскажи нам, дуракам, альбо про месяц!..» Как тут, брат ты мой, грохнем мы!.. — Известно — глуп народ.

— Чему же вы засмеялись?

— А смеялись-то мы делу. Николаич говорил как-то про грозу: тучи, говорит, вроде как на манер ружья заряжены, и с того гром. Туча с тучей столкнется — молонья. — Архип снисходительно и тихо засмеялся. — Ну, и про месяц опять... Да много кой-чего наплел! — Архип махнул рукою, как бы обессиленный наплывом смешных воспоминаний.

— Ну, засмеялись вы... — напомнил я.

— Ну, как грохнули мы сдуру-то, он возьми и уйди со сходки. Так-то, брат ты мой, его проняло — пришел я ко двору, а он без памяти. Насилу фершелок отходил!

— Долго ли человека обидеть! — глубоко-

мысленно добавил Архип после некоторого молчания.

Ежиков все еще спал, и в ожидании его пробуждения самовар долили.

— А выживут! — внезапно произнес Архип.

— Кого выживут?

— А его, Миколаича.

— Откуда?

— От нас, из Лесков.

— Кто же его выживет?

— Архаилка выживет, — с непоколебимой уверенностью сказал Архип. — Он ему нож вострый, Миколаич-то. Ну, он его и выживет. Человек — пес!

— Ну, вот еще, — усомнился я, — как так ни за что ни про что выжить человека?

— Ни за что ни про что?! — пылко возразил Архип, по-видимому задетый за живое моим недоверием. — Нет, ты Архаилку не знаешь!.. Нет, Архаилка, брат, подведет!.. Это уж не сумлевайся — не таковский!

— Как же он подведет?

— Архаилка-то? очень просто! — и с азартом олицетворяя гневного и ехидного Архаи-

ла, Архип воскликнул: — Первым ты долгом мужика не внушай! Как ты так можешь мужика внушать!.. И опять — застойка! Нешто это порядок, за мужика застаивать, а? Аль ежели молонью взять — разве это порядок? Аль опять — переделу не бывать, внушаешь... Как это возможно?.. И как это возможно насчет переделу, а? — Архип победоносно взглянул на меня и, несколько успокоившись, добавил: — А ты говоришь, не выживет! Еще как выживет-то — единым духом... Архаил — он пес!

Наконец проснулся Ежиков. Он живо оделся и сконфуженный вышел к нам.

— Батюшки, как я заспался! — восклицал он. — Извините, сделайте милость!.. Такая книга интересная, и так долго не засыпал я...

Мы рассказали ему эпизод с сугробами. Он ужаснулся и заскучал. Его, видимо, тянуло в Лески. Он не раз подходил к окнам и тоскливым взором всматривался в погоду. Но погода была такова, что он даже не решался заговаривать с Архипом о поездке.

И во время чая и после чая, когда Архип удалился уже в переднюю, Ежиков перекиды-

вался с ним краткими словами, для меня часто совершенно непонятными. «Что-то Андрейка теперь делает?» — спросит Ежиков. «А что ему, небось лаптишки плетет либо книжку читает», — ответит Архип, и мягкая улыбка осветит скучающее лицо Серафима Николаича после Архипова ответа... «Добыл ли работы Фома?» — с живейшим беспокойством проронит он немного спустя. «У Журавлева добудет!» — успокоивает Архип, и опять тянется молчание, и опять за молчанием следует отрывистый вопрос: «не то ожеребилась кобыла у Пахома?..» или: «починили ли полушубок Михейке?», или: «ах, кто-то Федосею условие с Архаилкой напишет!..»

День длился. Вьюга завывала. Семен вздыхал, а Ежиков уже и окончательно затосковал. То и дело подходил он к окнам и напряженно оглядывал мутное небо. Если о чем говорил он, то говорил рассеянно и скучно, постоянно срываясь со стула и измеряя комнату беспокойными шагами.

Во время вечернего чая Архип сердито кряхтел, исподлобья наблюдая за Ежиковым и, против обыкновения, был неразговорчив.

Наутро, чем свет, он разбудил Ежикова. Встал и я. Ежиков торопливо одевался при свете сальной свечки, трепетно мигавшей тусклым огоньком своим в руках Семена. Погода утихла. Серафим Николаич упрямо, отказался от чая, который мог бы быть готовым через час. Его как бы подмывало что-то и гнало. Лицо его светилось радостным возбуждением, и пальцы чаще, чем когда-нибудь, держали бородку. Он дружески расцеловался со мною, не отказался от шубы, предложенной ему на дорогу, и убедительно просил меня приехать к нему.

Я вышел проводить его на крыльцо. В синем небе еще не погасли звезды. С востока наплывал желтоватый и как бы холодный рассвет. Вокруг хутора и далеко за ним беспорядочными волнами громоздились сугробы. Синеватые тоны облегли поле. Из избы курился дым, высоким столбом омрачавший небеса. Морозило. Ветер затих. Дали хмурились.

Дороги не было и следа. Путники мои тронулись целиком. Шершавый Архипов меринок, то утопая в сугробах выше колен, то неуверенно ступая по насту, медленно тянул

грузные сани, в которых сторбившись, сидел Ежиков и сердито нахохлившись Архип.

Я долго смотрел им вслед. Я смотрел до тех пор, пока и фигуры путников, и меринок, и грузные сани не слились в одно общее черное пятно и не потонули в угрюмой сумеречной дали.

Вослед им болезненным, бледно-янтарным блеском загоралась заря.

Примечания

Алёшка — лакей. Слово это, кажется, свойственно всей крестьянской России. (*Прим. автора.*)

[^^^]

Распек. (Прим. автора.)

[^^^]

СМЫСЛ ЖИЗНИ (*франц.*)

[^^^]

Ямки. (Прим. автора.)

[^^^]

Комментарии

Система Натуры. — Имеется в виду «Система природы» (1770) — главный труд Поля Анри Гольбаха (1723–1789), знаменитого французского философа-материалиста и атеиста, одного из идеологов революционной французской буржуазии XVIII века.

[^^^]

Саллюстий Гай Крисп (86–35 до н. э.) — римский историк. Наиболее значительный его труд «История» (русский перевод 1859), охватывавший период 78–67 до н. э., сохранился в небольших отрывках. Саллюстий, противник римской знати, доказывал ее неспособность к управлению государством.

[^^^]

Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.) — известный римский политический деятель, оратор, философ. Политическим идеалом Цицерона являлась аристократическая республика с широкими правами средних классов, описанная в его философско-политических трактатах.

[^^^]

4

Фарисейство — в переносном смысле употребляется в значении ханжества.

[^^^]

Лафайет Мари Жозеф Поль (1757–1834) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII века и революции 1830 года.

[^^^]

Молотов — герой романа «Молотов» и «Мещанское счастье» Николая Герасимовича Помяловского (1835–1863), выдающегося русского писателя-демократа. В романе «Мещанское счастье» Помяловский показывает, как борьба разночинца Молотова за свое утверждение в жизни приводит его в конечном итоге к борьбе за личное благополучие, за «мещанское счастье». Эртель высоко ценил творчество Помяловского. Придавая громадное значение духовному развитию своей будущей жены М. В. Огарковой, заботясь о том, чтобы купеческая дочка, просто «барышня» (что было для Эртеля презрительным наименованием), стала близка ему по своим взглядам, стремясь воспитать в ней человека, думающего прежде всего о благе страдающего народа, Эртель составлял для нее рекомендательный список тех книг, которые она обязательно должна была прочесть. В этом списке одно из первых мест занимали романы Помяловского.

[^^^]

Милль Джон Стюарт (1806–1873) — буржуазный английский философ и политэконом. Милль пользовался в русских передовых кругах 60-70-х годов большой популярностью как сторонник женского равноправия и критик буржуазного парламентаризма.

[^^^]

Ливанов Федор Васильевич — служил в министерстве внутренних дел, автор очерков и рассказов о раскольниках, написанных недобросовестно, представляющих в извращенном виде движение раскола. Кроме так называемой «народной» хрестоматии — «Золотой грамоты» (М., 1875), Ливанов издал еще «Золотую азбуку» и др.

[^^^]

Устав о предупреждении и пресечении — полное название: «Устав о предупреждении и пресечении преступлений, о содержащихся под стражей, о ссыльных». Составлял центральную часть XIV тома Свода законов.

[^^^]

«...цивилизации... про которую говорил Потугин...» — Созонт Потугин — один из героев романа И. С. Тургенева «Дым» (1867).

[^^^]

Дорэ Гюстав (1832–1883) — французский художник, иллюстратор произведений Рабле, Бальзака, «Ада» Данте, «Дон-Кихота» Сервантеса и др.

[^^^]

Антология (греч. «Собрание цветов») — сборник лирических стихотворений разных авторов. Здесь, очевидно, имеются в виду произведения антологического характера, то есть написанные в духе античных авторов.

[^^^]

Щербина Николай Федорович (1821–1869) — русский поэт, писавший «антологические» стихи в подражание древнегреческим авторам.

[^^^]

«Гец» — драма великого немецкого поэта и мыслителя Гете «Гец фон Берлихинген» (1774), в которой ярко проявились бунтарские, антифеодалные настроения молодого Гете.

[^^^]

Беранже Пьер Жан (1780–1857) — знаменитый французский поэт-демократ, республиканец. Белинский, Добролюбов, Чернышевский высоко ценили творчество Беранже.

[^^^]

Ауэрбах Бертольд (1812–1882) — немецкий писатель, автор «Шварцвальдских деревенских рассказов» и др. произведений, в молодости сочувствовал так называемому «истинному социализму», выражавшему интересы немецкого мещанства.

[^^^]

Брет-Гарт (Гарт Френсис Брет, 1839–1902) — американский писатель, в чьем творчестве звучало глубокое сочувствие простым людям. Поэтому его произведения были любимы русскими революционными демократами; печатались в прогрессивных русских журналах.

[^^^]

Шпильгаген Фридрих (1829–1911) — немецкий романист; во многих его произведениях изображена революция 1848 года; наибольшее значение имел его роман «Один в поле не воин».

[^^^]

«...байроновской „Тьмы“». — «Тьма» — небольшая поэма великого английского поэта Джорджа Гордона Байрона (1788–1824), написанная в июле 1816 года. В этом глубоко трагическом и мрачном произведении Байрон говорит о представившейся ему во сне гибели всего живого в результате угасания солнца и других небесных светил и воцарении на оледенелой земле тьмы, мрака. Современники по-разному оценивали это произведение Байрона. Отрицательно отнесся к поэме Байрона известный английский писатель Вальтер Скотт (1771–1832), по мнению которого, Байрон здесь «отступил от свойственной ему манеры указывать читателю, куда клонятся его намерения, и удовольствовался тем, что представил беспорядочное нагромождение сильных мыслей, нелегко поддающихся истолкованию».

[^^^]

Эдгар Поэ — Эдгар Аллан По (1809–1849) — американский писатель, поэт и критик. В большинстве своих произведений поэтизировал кошмарные фантастические видения; в его творчестве отчетливо звучат иррациональные мотивы.

[^^^]

Позитивисты. — Позитивизм (от латинского *positivus* — положительный) — идеалистическое направление в буржуазной философии и социологии. Позитивисты утверждают, что они «выше» философии, «отрицают» ее, якобы опираясь на «позитивные», «положительные факты», на данные науки. В действительности же они объясняют факты в духе философского идеализма, опыт понимают как совокупность субъективных ощущений, переживаний. Позитивисты отрицают возможность проникновения в сущность предметов и явлений, принижают роль теоретического мышления в познании действительности. Родоначальником позитивизма был Огюст Конт, французский философ и социолог XIX века, сторонниками позитивизма были английский философ Г. Спенсер и др., в России — видный идеолог либерального народничества Н. К. Михайловский. К. Маркс и Ф. Энгельс резко осудили позитивизм. В. И. Ленин подверг его суровой критике в «Материализме и эмпириокритицизме».

[^^^]

Гартман Карл Роберт Эдуард (1842–1906) — немецкий реакционный философ-идеалист. В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм» разоблачил Гартмана как защитника идеализма и фидеизма.

[^^^]

Нигилист. — Нигилизм — отрицание исторических ценностей, созданных человечеством. В 60-х годах XIX века в России, в связи с выходом романа Тургенева «Отцы и дети» (1862), термин «нигилист» получил большое распространение, так как нигилистом Тургенев назвал разночинца Базарова, отрицавшего устои дворянского общества. Понятие «нигилист» толковалось неодинаково различными общественными группировками. Для части разночинной интеллигенции, представленной Писаревым, оно было почетным, стало как бы знаменем, а реакционеры во главе с Катковым использовали его для клеветы на революционно-демократический лагерь.

[^^^]

Фет (псевдоним Афанасия Афанасьевича Шеншина, 1820–1892) — русский поэт. Лиризм его стихов, их ритмическое и мелодическое совершенство, тонкое чувство природы — все это привлекало к творчеству Фета внимание современников. Вместе с тем, признавая талант Фета, идеологи революционной демократии непримиримо враждебно относились к его творчеству, так как Фет выступал в поэзии как защитник реакционной теории «искусства для искусства», объявляя социальные проблемы посторонними для литературы. В своей публицистике Фет демонстративно подчеркивал, что он является защитником неограниченного самодержавия, отстаивает помещичьи интересы. Его «Записки о вольнонаемном труде» и очерки «Из деревни», печатавшиеся в 60-е годы, были встречены прогрессивным лагерем с негодованием.

[^^^]

Гудон (Удон) Жан Антуан (1741–1828) — выдающийся французский скульптор-реалист; статуя Дианы принадлежит к числу его наиболее совершенных творений.

[^^^]

Мещерский Арсений Иванович (1834–1902) — русский художник-пейзажист.

[^^^]